

Ceci n'est pas un Клейн

1

Началась война, и летние вокзалы переполнились составами, перевозившими добровольцев на линию Фронта. Внешний облик перронов резко изменился. Исчезли потные жирные бабки с похожими на них самих жареными пирожками. Исчезли подозрительные усатые типы в одеждах из другой эпохи. Перестали мелькать американские этикетки цвета рождественской елки с полным комплектом игрушек. Теперь продававших "Миринду" или презервативы "Лайфстайл" могли в любой момент подвергнуть спонтанному линчеванию в подземном переходе.

Среди добровольцев было особенно много девушек. Некоторым из них еще не исполнилось восемнадцати. В их глазах мерцал непонятно откуда взявшийся героический костерок. Они с небывалым рвением остригали свои девичьи косы, выбривали виски и затылки, и лихо меняли цветастые весенние сарафаны, которые так обожают провинциалочки, на строгую защитную форму "хаки".

Юрский бродил тенью среди всего этого романтического потного великолепия. Он был в полном смятении и напоминал себе какого-то булгаковского интеллигентствующего недотрогу. Лоха, как они говорят тут. Юрский был против войны ГЛОБАЛЬНОЙ. Как он утверждал самому себе, его личная инициатива могла бы проявиться гораздо эффективнее в период ГРАЖДАНСКОЙ войны. "Вам нравится термин "гражданская война"? Мне – очень!" – вспоминал он строчки своего любимого писателя. Его совсем не радовала перспектива стать пушечным мясом в руках какого-то тупорылого украинського провідника. Да и в это глупое государство он тоже не верил. К глубочайшему его сожалению, русские, украинцы, белорусы... одним словом, экс-советские давно проебали свои шансы на повторную революцию: спокойно сосуществуя, так и оставаясь разделенными. И вот теперь – война.

Юрскому необходимо было найти двух молодых подруг, которые записались в добровольцы, дуры. Об этом они сообщили ему вчера по телефону таким тоном, словно бы оповещали его о сентиментальном путешествии в Крым, или куда-нибудь на Казантип – куда они сейчас ездят на каникулы? Юрский испытывал к ним нечто наподобие отеческих чувств с легким налетом вождения. Как любой инцестуозный папаша, он пришел в ужас от подобного заявления своих чад.

Когда-то эта стайка состояла из троих, однако похожая одновременно на Любовь Орлову и Камерон Диаз, легкокрылая Серафима вот уже несколько лет как улетела в Новую Зеландию, и "маленьких барышень", как называл их Юрский, осталось двое.

Он узнал круглое красивое лицо Валерии в толпе. Минуты три ушло на то, чтобы протиснуться сквозь прелое человеческое мясо. "Эй!" – он несмело тронул ее за рукав униформы. Валерия носила "ежик" и жевала резинку, и в хаки смотрелась просто полный

пиздец. Юрский всегда был в восторге от подобного рода девочек. Увидев рядом огромные глаза Алины (когда-то доходившие до пояса, ее длинные черные волосы теперь были коротко острижены "под мальчика") Юрский мгновенно понял, что никого отговаривать не станет. Их несомненно убьют, с тоскою подумалось ему, но он не имеет никакого права говорить им что-либо – ведь они тотчас презирают его! Блядь. Да он сам должен был быть на их месте! Совершить идиотский, но необходимый ритуал. Быть мужчиной, наконец, черт возьми! Вместо этого он лишь поцеловал этих двух недозревших пиздюшек на прощанье в щечки и отправил их умирать. Долго махал рукой вслед удаляющемуся поезду. Сам он отправлялся жить...

Когда пришли неонаци, Юрский попал к ним одним из первых. Возможно, кто-то донес – кандидатур было предостаточно... О, нет, это были не потные и грубые свиньи наподобие старых фашистов. Они не пили горькую, не насиловали наших баб на сеновалах и не орали по ночам "Хорст Вессель". Это были улыбающиеся благовоспитанные молодые люди с лицами и манерами продавцов американских супермаркетов. Облачены они были в безупречные черные униформы, поверх которых носили стерильные медицинские халаты. Юрского привезли к ним рано утром в черном автомобиле. Вежливо проводили в лабораторию.

Сперва улыбающиеся молодые люди ввели ему в вену морфий, или что-то еще – Юрский не разбирался в препаратах. Вскоре реальность превратилась в экспериментальный авангардный фильм, в котором используются все виды монтажа и съемки: от черно-белой допотопной восьмимиллиметровой кинокамеры до фотографии и компьютерной обработки.

Для начала они отрезали ему ступни. Боли не было, были лишь цветные поляроиды, изображающие широкие безукоризненные ступни Юрского, слегка оранжевые на фоне белоснежно-белого "подсова" – а может, все дело было в фильтре. Крови не наблюдалось. Потом ему ампутировали колени, окрасив пленку в бело-ржавый цвет. Съемка велась с необычного ракурса. Монтажом, похоже, занимались ребята с MTV, по-видимому, рассчитывая на короткий спектр внимания рядового западного зрителя. Затем они продвинулись выше. Они ничего не спрашивали, только вежливо улыбались и кивками подбородков как бы осведомлялись, все ли в порядке. Он испытывал к ним нечто вроде благодарности идущего на поправку больного.

Вышел он из здания больницы в белом парусиновом костюме. На согнутую в локте руку был накинута легкая, белая же, плащ. Сам. Без посторонней помощи. Импортные протезы из серой пластмассы были безукоризненны. Легкий ветерок колыхал тонкие брючины.

Юрский посмотрел на серое небо и, разумно предполагая дождь, раскрыл зонт.

ВЗГЛЯД ИЗ 2011 ГОДА:

Этот текст был написан в Инфекционной больнице на улице Пастера в Одессе, где летом 1999 года автор лежал с диагнозом "гепатит А". Коротая время, он писал стихи и рассказы, лежа под капельницами, прогуливаясь вдоль руин на территории больничного парка или наворачивая отварные диетические тефтели.

"Юрский" – это пересказ сна, в котором автор приснился себе в образе знаменитого актера, каким он был в молодости. Юрский – это он сам, такой, каким ему бы никогда не хотелось быть: дэнди, бонвиван, созерцатель, рассуждатель, человек слов и книг, а не прямого действия. Автор не знает, какова дальнейшая судьба девочек (прототипы вполне реальные), описанных в рассказе. Очень хочется верить, что они не пошли в домохозяйки, а действительно записались в наемники и сейчас воюют где-нибудь в Ливии или другой горячей точке планеты...

ВЗГЛЯД ИЗ 2017 ГОДА:

Чудовищно легкомысленен и инфантильно-глуп тот комментарий, что автор смог написать в 2011 году, когда всё это ещё было из области фантастики и ещё не стали сбываться предсказания, нащупанные вслепую в этом тексте родом из прошлого века.

Сейчас, когда война стала неотъемлемой повседневной реальностью Украины, автору хотелось бы верить, что всё это по-прежнему снится ему, двадцатилетнему, и он вот-вот проснется в своей больничной палате на Пастера, с видом на высоченную кирпичную трубу крематория в окне. (Лёгкий дымок из неё рассеивается, как сновидение в безоблачном одесском небе...)



Сергей Кошевой, лет пяти от роду, не старше, стоит у плетеного проволочного забора тюрьмы. Окей, прототипа тюрьмы, и по сути – тюрьмы. Тюрьмы детсадовского типа. Называется: сад "Незабудка" (потому Кошевой никогда не забудет). СССР. Одесса. Украина. Которая его вскормила своей сиськой. Своими творами, медом, фруктами и рыбой. Из чернозёма глубины... из черноморья... Ранние 80-е, поздний застой. Лето или около того. Серёжа стоит, вцепившись детскими пальчиками в прутья клетки, опутывающие пузырь детского мира железным одуванчиком (облетит – только дунь – но дунь крепко! Крепко. Только нет пока такого ветра... Скоро будет. Ветер перемен. Перестройка-пересменка.)

Мальчик. Кошевой. Стоит. Вцепился пальчиками-паучками в сетку и поет: "Констанция! Констанция! Констанция!" – трагическая песня Д'Артаньяна (он знает, что с апострофом – начитанный еврейско-кубанский мальчик). На смерть возлюбленной из советской постановки про трех мушкетеров. И он, Кошевой, знает эту песню наизусть. Как и все остальные песни с пластинки с музыкой из фильма. Теперь уже забыл. А тогда – нет. Стоит и поёт, и в ограду вцепился. На что надеюсь? Что? Что прорвется? Насквозь.

А по ту сторону, на воле, стоит прекрасный ребёнок в белом платье, ангел, скорее, чем просто прохожий (ну откуда прохожему ребенку, одному, быть на воле, да еще и тогда, когда все дети - в застенках детсадов?)

Стоит и смотрит на Серёжу. Стоит и слушает и смотрит. Молча. Большими своими глазами. С голубой золоченой каймой. Блюдцами. Солнцами глаз. И поэтому, что солнце, Кошевой помнит не облик ребёнка (девочки), но сноп света, библейский-библейский, чудный-чудесный. И силуэт. И, кажется, белое платье. Как у невесты. Или на утренник. Одним словом, праздничное. Солнечное. Невесомое. И потому что мальчик ослеплен этим образом, глядит он не прямо, а в землю, в ноги (белые сандалики девочки, пряжечки-ремешочки – крупные планы, мелкие, мелкие, малые, малые... милые...) Он бы и стал на колени, но что-то ему говорит: НИКОГДА! НИКОГДА-НИКОГДА! НЕ СТАНОВИСЬ НА КОЛЕНИ. Стой прямо!

И Серый стоит. Поднимет взгляд повыше – слепнет, глаза слезятся то ли от яркости образа, то ли что песня – трагичная, то ли что ясно мальчишке: тюрьма, несвобода, забора сеть как прочные футбольные ворота – куда не пробьёт нападающий – гол.

И мальчишка не может смотреть прямо в солнце. У него на него аллергия. Он чихает. И слезы. Потому что нет больше Констанции. Отравила Миледи. Умерла. Нет Констанции. Есть лишь память-константа. Постоянная горечь утраты. Константа. Такая математика.

Constance... и может, именно поэтому в него всю жизнь влюбляются (влюбляется и он) – чужие жены? А? А потом умирают. И грустно. И в нем что-то гибнет. Сгорает. Он гаснет. Потом возвращается к жизни. Из пепла. Птицей-Феникс. Или кошкой. Христосом потешным.

А тогда Кошевой еще маленький... И к нему подходят сзади. Берут под руки. Дергают, трогают, тянут за плечи. Уводят. Как ни цепляется он за плетенный забор, за ограду, за проволоку... За свой Образ, который: сплошное пятно, дыра света (как бы анти-черная дыра).

И чем оттаскивают дальше, тем уже, с ударением на "у", уже (теперь на "е"), его видение (опять на "е"). Сужается Свет... потом исчезает и вовсе.

И главная трагедия, что нет лица, лица воспоминания. Только глаза.

А, повзрослев, Серёжа Кошевой всё ищет. Всё помнит. Всё ищет и ищет. В каждой любви, в каждом образе. Всматривается в Глаза. Может те? Может эти? Нет, не эти... не те... Или нет! И те, и эти – все. Ибо каждая Женщина – Та (перспективно), бывают моменты... когда Они сияют, когда цветут, расцветают, поймав его взгляд на себя (это – проекция, это также взгляд Орфея, обернувшегося – он посмотрит: рр-ра-аз - и нету их!)

И наверное, когда придет к нему плясать последний танец Смерть его, Сереги Кошевого, глаза ее будут такие же – два ослепительных солнца, анти-черные дыры. И поведет по светлым коридорам девочка-ребёнок в белом платье, с лицом, которое не видно.

Сизифов труд Сереги Кошевого. Искать и искать этот Образ. Любви. И, когда камень заботы уже почти достиг вершины, кубарем вниз... всё сначала. И так до Конца.

Так и живет Серёга Кошевой. Виски седые. И чуб седой. Звезда Давида на груди нарезана кровавыми ремнями кожи. Располосована. Сияет красным свежим мясом изнутри. И блеск юродивый в глазах. И дикая, нездешняя улыбка.



3

Серёжа Юрский – диссидент, интеллектуал, писателишка, эмигрант. В чём-то очень похожий на автора, его тезка, его альтер эго. В летнем легком белом плаще. В парусиновых хипстерских тапочках (тоже белых), на босу ногу. Пьем горькую в кнайпе на Шёнеберге, это его «киц», район по-местному, зажиточный. Пьем и беседуем. Точнее, говорит скорее он. Попытка оправдать, отмазать, выгородить. Кого? Себя, в первую очередь. (Но он не признается, нет. Дурная совесть. Типичная...)

И в голове Сереги Юрского – опилки. Он же умный.

Парад цитат. Салат цитат. Такое (напевает):

– Мама мне сказала: «Пора тебе в солдаты!»... Все, кто послушал маму, роят себе канаву...

Помнишь? (Кошевой кивает. Хорошо разбирается в музыке). Да... (И на другой мотив):

Hey, I don't wanna be a soldier mama, I don't wanna die.

Эй, мне не хочется в солдаты, мама – впахло умирать.

Эй, я не хочу быть адвокатом, мама, и по жизни лгать.

Эй, мне впахло быть богатым, мама, чтоб всю жизнь рыдать.

О, нет! О, ноу!

(Усмехается горько).

– Понимаешь, старик?

(Кошевой снова качает головой, как китайский болванчик. Оценил синхронный перевод песни Леннона).

Юрский продолжает:

– Адвокаты! Ad voca, «от голоса». Голоса, сука, ада... Адвокаты смерти. Те, кто призывают умирать – за страну, за завтрашний день, за полные крови и мелочи карманы, за полные крови и кредиток портмоне, за полные крови и процентов с кредитов банки, их полные наличности и крови сейфы. Почему они сами не пойдут на войну, не поедут? Почему не отправят детей – своих, Серега, СВОИХ! Не каких-то там, пушечным мясом... Вопрос риторический...

Пауза. Кошевой надеется, что всё, но нет, это ещё, оказывается, не всё:

– Солдаты – добровольцы – снимаю шляпу. Солдаты – призывники – пушечное мясо, дезертируйте – не осуждаю! Они умирают не за меня. Умереть можно только ни за что. Отдавать себе в этом отчет. Не лгать себе и другим (как адвокаты). Это между тобой и богом, старик. Положить свою жизнь – уважаю! Слава Украине. Слава героям. Я серьезно!

Они выпивают... И ещё.

Юрский платит. Кошевой без денег. Потому и не спорит. Молчит и слушает. Когда нету денег, молчишь, киваешь, слушаешь – и пьешь. Такие негласные правила. Такая игра.

И Кошевой играет. И выпивает на пару (на шару). Не потому, что хочет пить – тянет свою огненную воду мелкими короткими глотками. Просто хочет разобраться. К тому же он – писатель, его задача – слушать, наблюдать, мотать на ус.

А Юрский... пусть его, пусть говорит. Если надо. Надо, ну пусть выговорится. Пусть камень с души, Сизиф-Юрский – завтра утром опять на работу – катить камень. И мучиться мыслью. Оправдываться перед немим трибуналом лиц, являющихся Юрскому во сне каждую ночь, призраков украинских солдатиков. И тех, что погибли, и тех, что нет пока что, но погибнут, обязательно погибнут. Они не сверлят его взглядом гневно и не осуждают, нет. Они стоят и смотрят. Невыразительно и безразлично. Но пристально, в самую душу – снайперски, четко. И Юрский – вспышка! – вскакивает-просыпается, пот и испарина, влажные простыни, смятый комок одеяла.

Так Кошевой себе уявляет.

А его собеседник всё говорит, и говорит, и говорит. Жестикулируя нервно. И тоже пьет, и просит снова, и ему приносят, и он, такой: «Ну, будем! Слава Украине!», чёк, и опрокидывает стопку, водку в глотку, чпок – рюмкой об стол. А автор только пригубит и слушает. Запоминает. Позы Юрского: вот он нервно, резко, рассеянно, пробивает карманы, поиск сигарет. Находит не сразу, с третьей попытки – чик, щелк зажигалка... курит отрывисто. Прячет глаза.

Лицо известного актера в молодости, в роли Бендера. Эмигрант со стажем. Модное пальто. Легкое, белое, летнее. Паспорт с «умбифристет»-визой в кармане. Тапочки эти, на босу ногу, парусиновые, стильные. Майка. Штаны. Белоснежный такой. Как хирург. НО: незапятнанный. Ни кровиночки... Неосознанно то и дело нервозно смотрит под ногти. Не попало ль чего. Не запачкал ли? Может, это кровь пацанов с востока Украины ему чудится-мерещится, воинов небесных сотен, и степных? Предполагает Кошевой.

А Кошевой? А сам? Нелегал. Голытьба. Без документов. Партизан.. Без бабок. И, наверное, без будущего. Сидит в желтой майке и шортах, что соорудил, обрезав выдавшие виды, бывалые blue-джинсы. Ни разу в жизни – ему почему-то подумалось только сейчас – не надевал галстук.

И вряд ли когда-то наденет.

